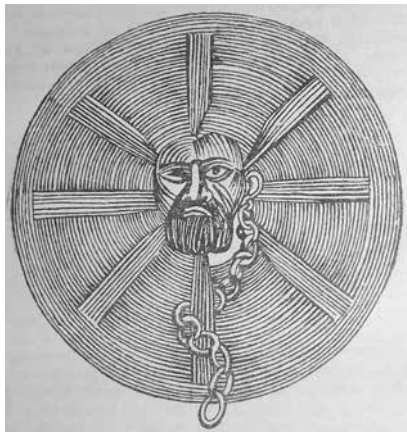


5 апреля 1973 года

В октябре 1972-го вышел наконец «Поэтический мир Есенина», и меня уже в феврале 73-го наконец-то приняли в Союз писателей. Для корочек (писательского билета) нужна была фотография, а я как всегда тянула. В результате получила красивую маленькую книжицу чуть не месяц спустя. А тут еще Муравьев, проявив неожиданную активность, затребовал для себя как оформитель на совписовском складе целую пачку «Поэтического мира» в подарочном оформлении: и бумага получше, и переплет ярко-белого колленкора.

Отца дома нет. Он в госпитале, но ничего страшного. По весне подлечивают, профилактически, санаторно. Раньше отправляли в Цхалтубо, теперь, после отставки, здесь. Нет и Генки, после работы заедет в госпиталь, ну а потом по своим «жениховским делам». Еще лучше. Мама за нас с Муравьевым больше всех волнуется. Неопределенность социального статуса нашего странного семейства ее почему-то куда больше тревожит, чем отца. Вслух об этом никогда не говорится, но я-то чувствую. Перед самым выходом, уже одетая, оповещаю по телефону: жди, выезжаю. Да и в квартиру трезвоню особым школьным мака-



«Душа моя устала и смущена от самого себя
и происходящего»
(художник В. Муравьев)



«Жизнь образа огромна и разливчата»
(художник В. Муравьев)



Алла Константиновна Тарасова
(25.01.1898 — 05.04.1973)

протащить мою рукопись через цензурное ушко «Советского писателя», я переворошила и есенинские, и околоесенинские заглашки. И Ленинки, и Исторички, и Театральной библиотеки. В Театралке и наткнулась на какой-то незначительный (в информационном отношении) мемуарный фрагмент. Из него-то и выяснила: то ли в конце 30-го, то ли в начале 31-го Станиславский действительно привозил в Ленинград «Отелло» с Дездемоной-Тарасовой. Правда, не в статусе разрекламированных заранее гастролей, а как показ новых работ, чуть ли не в порядке эксперимента. Запомнилась и вот какая деталь: у Константина Сергеевича, как вспоминала мемуаристка, был «при себе» список деликатных каких-то вещиц, которые, по просьбе женщин домашнего круга, он должен был привезти из Ленинграда (потому что ничего подобного в Москве не было).

С какой такой стати, спрашиваю самое себя, такая мелочь запомнилась? Константин Сергеевич в неожиданном бытовом, сниженном ракурсе? Ну нет, конечно. Станиславский — не мой сюжет. А потому, что другое попутно вспомнилось. В севастопольском моем детстве о вещах, привезенных из Ленинграда, говорилось с уважительным, не без зависти восхищением. С той же почти интонацией, с какой в начале 70-х модницы обсуждали купленные в Прибалтике шапочки-варежки, пуговицы и керамику...

Ленинградское мулине. Ленинградский трикотаж. Ленинградская дамская обувь... Мамины ленинградские лодочки, крохотные, 34-й размер, даже жили в севастопольском нашем жилье отдельно от остальной обуви, в платяном шкафу. Понюхать можно и подержать тоже. А вот играть с ними, превратив руки в ноги, преображаясь в старого Черепаха, — нет, нет и еще раз нет. Впрочем, если я и огорчаюсь, то слегка, потому что, спрятав туфельки в их коробочный дом, из того же шкафа мама, если тихонечко попрошу, ну совсем тихонько, достанет мешок с разноцветными косами.

Делаются эти косы-змейки так. Сначала перетянутые магазинным бумажным пояском моточки блестящего ярко-радостного ленинградского мулине раскладываются по кучкам. В одной, самой большой, все красноватые — от розового до темно-вишневого, в другой, тоже маленькой, — разнозеленые. Остальные — и желто-оранжевые, и сине-голубые — поменьше. Самая маленькая горка — черно-бело-серая. Сколупнув бумажные пояски, мама растягивает каждую пасму на руках, туго-туго, ровно-ровно, а отец, наточив отставную, уволенную в запас опасную бритву,

ром: два длинных, четыре коротких. Но отывает почему-то Шурыгин (младший). Старшие, купив зимнюю дачу, «зимогорствуют». Я в панике. А что если снова инфаркт? Заглядываю, приоткрыв дверь, в комнату. На столе свежая скатерть, на маме — новая кофта, в прошлый приезд она ее только сметывала. Переобуваюсь, мою руки. Вроде все в порядке, и все-таки как-то не так... И в самом деле не так. Не спросив, как обычно, почти ритуальное: надолго ли, и, может, поужинаешь? — мама смотрит отсутствующими глазами куда-то туда, где меня навсегда нет, и говорит как всегда тихо, но каким-то чужим неизвестным мне голосом: «Только что передали. Алла Константиновна умерла...»

Метро еще нет, его пустят года через два. Околошкольный проулок, которым в течение стольких лет все мы бегали к остановке трамвая, ничуть не изменился. Слякотно. Но я же никуда не спешу. Муравьев обживает свою мастерскую, первую в его жизни. Выламывает кирпичи, расширяя оконный проем. Юлька с бабой Маней. Свекрови без меня вольготнее. Кошки. Собачки... Я — третий лишний. 21-й после одиннадцати спит на ходу. Лучше бы на автобус, надежнее. Но я же никуда не спешу? Прохладно. Хотя и апрель. Пальтецо-самовязка (мамина выучка) чуть ниже коленок, темно-красное, с оттенком в бордо, коротковато. Надо бы подлиннее. А трамвая все нет и нет. И на остановке ни души.

Никаких сомнений в том, что за полтора или за два года до моего рождения мама и в самом деле могла видеть в Ленинграде спектакль с участием Тарасовой, у меня давно нет. За те семь лет, которые промытарилась, пытаюсь помочь Льву Шубину



Севастополь. Большая Морская. Командированные, курортники, зеваки толпились обычно на Графской пристани. Местные традиционно прогуливались по Большой Морской. Считалось, что это самая красивая улица города

быстро, одним махом, рассекает каждую на две части. Потом все это восхитительное разноцветье раскладывается рядком на черном дерматинове казенного дивана... Засыпая, долго гляжу сквозь марлевый противомоскитный барьер, отделяющий спальную комнатку от большой с балконом, на неузнаваемо разнаряженный диван... А утром, проснувшись, вижу, что разноцветные космы аккуратно заплетены в не очень тугие толстенные косички!!! Радость... радость... радость... Уж теперь-то с ними можно играть! Наматывать на шею и на руку, или пусть превратятся в змеюк, пусть извиваются и шипят.

Впрочем, думаю, не вдруг беспричинно, не без повода все это вспомнилось: видимо, после того, как в одном из опусов Натальи Громовой с удивлением прочла, что люди тридцатых годов якобы носили «белые одежды», потому что у предприятий легкой промышленности не было красителей. За всю Россию не скажу, а вот на улицах, бульварах и набережных Севастополя и впрямь было много людей в белом, точнее, светлом. Чесуча старожителей кичилась благородством тона слоновой кости, а в ярко-белом щеголяли фуражечные сменные чехлы и кители моряков. Но наряднее всех смотрелись молодые женщины в парусиновых сарафанах и безрукавных платьях, щедро и изобретательно даже не вышитых, а расшитых. Парусина, сколько ни отглаживай, моментально мялась, но платья, украшенные васильками-ирисами-маргаритками-незабудками, становились от этого еще нарядней. В день большой глажки на общей огромной кухне постельное белье гладили каждый на своем столике и складывали в стопку, а платья на плечиках развешивали на веревке... Предчувствую почти неизбежный сегодня вопрос. Да кто же научил вышивать женщин вашего коридора и почему они, вместо того чтобы служить и зарабатывать, домохозяйничали? Да потому, что Севастополь середины 30-х был городом военных моряков и их поневоле безработных жен. А вышивать их обучали бывшие преподавательницы рукоделия — предмет обязательный в самых престижных женских гимназиях...

Но я опять, увы, отклонилась от сюжетной прямой. А все потому, что, порывшись в маминой рукодельной шкатулке, забрала себе остатки сильно поредевшей буро-зеленой косицы. Она и сейчас существует. Юбка, ради которой была произведена конфискация, давным-давно сошла на нет, а ей хоть бы хны...

Трамвай наконец все-таки появляется. И даже наполовину полный... Каким образом на переполошивший весь Питер спектакль могла попасть

вчерашняя провинциалка? Естественно, по случаю, заодно с другими. Она же до родов работала корректором в какой-то маленькой типографии. У нее врожденная абсолютная грамотность, мне, к сожалению, не доставшаяся. А все остальное — детали. Беспокоит меня и как-то томит другое. Мы же весь вечер вспоминали и Дружникову, и «Без вины виноватых»? То есть я вспоминала, а мама молчала. Промолчала и на мои наводящие напоминания о нашей первой зиме в татарской деревне Салкын-Чисма. Да еще и как-то почти демонстративно не прореагировала, хотя что-то, а военные перемещения и злоключения не хуже меня помнит, хотя и иначе, с изнаночной стороны. Только согревшись в метро, задним числом удивляюсь. Опять, дурища, не спросила, как, когда и при каких обстоятельствах она увидела Аллу Тарасову? Это же так естественно — и к месту, и вовремя. Я не спросила, а она и не заметила. Господи, неужели же потому, что 5 апреля 1973 года ушла навсегда не любимая актриса, а какая-то часть ее собственной другой жизни, о которой и не может, и не хочет вспоминать вместе со мной? Нет, нет, в 73-м такая мысль и в голову не могла прийти! До нее долгий путь длиною... Даже вымолвить страшно — в сорок лет. Тогда было только внешне возникшее чувство черты, даже не чувство, а предощущение, и не черты, в значении границы, а непреодолимости-непроницаемости не своего прошлого. Словом, не просто барьер, а совсем другая, иного рода невозможность. Но все это я сейчас понимаю. А в зябком апреле 1973-го? Тогда я осторожно выгуливала новые свои платформы. Венгрия, темно-бордовые, с розоватыми вставочками возле шнуровки. Очередь фыркала, мне же самое то. К пальто-самовязке. К той самой обнов-



Мария Петровых, Амо Сагиан и я. Москва,
апрель 1972 года

ке, что на фотке из книжечки Мкртчяна о Марии Петровых: весна 1972-го, Амо Сагиан, Мария Сергеевна и я сбоку. На лавочке возле старого ее дома. На Беговой. Левон верен себе: снимочек втиснул, а карточкой не поделился. В сборничке и увидела. Впрочем, и это нескоро. А сейчас, отмахиваясь от необязательных воспоминаний, пробираюсь сквозь столпотворение давно прошедшего: голосов, лиц, прикасаний и взглядов, встреч и прощаний, ссор и примирений... И вдруг останавливаюсь. Сначала крупно-печатно: **1961**. И мелко, курсивом: *август*...

Да, да! Август. Наверное, самое начало, потому что такого летнего сияющего августа в моей жизни не было. И не будет. А если и случался похожий, то проходил мимо, незамеченным. Да, самое начало августа. Еще жарко, но уже не истошно, а именно так, когда ужас как хочется большой и прохладной воды. Вот мы, то есть вся наша городковская, еще в школьные годы *стусовавшаяся* компашка, созвонившись с утра, несемся, шуткуя и вспоминая вслух, на бегу, на Москву-реку общего, одного на всех послевоенного детства. Однако ж надолго на законном месте прежнего дикого пляжа против обыкновения не задерживаемся. Погостее воскресенье. Народ плотно — мухами — облепил песочную гору. Ту самую, нашу, с которой когда-то, детьми, съезжали на заднице.

Все мои спутники, впрыгнув в отдыхавший на конечный остановке двадцать первый, направляются в город, в киношку. Я — неожиданно остаюсь, неожиданно замороженная плодами земледелия.

Тогдашнее Строгино все еще продолжает быть трудолюбивой деревней. В самые первые послевоенные годы из-за Реки в наш Городок на

Щучке, заложенный и спроектированный, отчасти и выстроженный, напоминая, американцами для каких-то своих надобностей, а затем приватизированный военным ведомством, приезжали тетки с бидонами молока. С середины пятидесятых по квартирам они уже не ходили. Да и коровы, видимо, перевелись. А вот овощи привозили. Рассаживались по воскресеньям на пыльной площадке трамвайного кольца, разложив на газетках все, что выросло на неколхозных тамошних огородах. Все — от толстых стручков гороха до нежнелунной репы. Господи, какой это был натюрморт! Недостатка не было. Избыток был. Я записывала ярко-цветный, отмытый до блеска избыток в пляжную сумку с какой-то не свойственной мне алчностью. Но при этом косила, стараясь разглядеть, висит ли замок на двери мясной лавчонки — утлого строеньица, сильно смахивающего на отхожее привокзальное место. Через несколько дней неблагоприятие искоренят. Но в тот ликующий день оно еще пребывало. А грустный частник, видимо, знавший о конце безнадежного своего «бизнеса», отвалил на последние мои рублики огромный кусок говядины...

Придя домой, я достала из кухонного шкафчика новенькую пятилитровую кастрюлю — немецкую, травянисто-зеленого цвета, — мама отстояла за ней длиннющую очередь, но никогда в ней ничего не варила — по причине чрезмерной для нашего семейства огромности. Однако кусок оковалка, который всучил мне грустный частник, был такой величины, что ни в какую иную посудину не вмещался... Потом эта красивая кастрюля с гэдээровской эмблемкой на круглом боку перекочевала на Преображенку — это была почти единственная вещь, увезенная мною из отчего дома...

Опростав сумку и присмотревшись к развалившемуся на части натюрморту, поняла, что ничего иного, кроме как превратить всю эту красоту в августовский борщ, не остается...

И я стала сочинять Борщ. Часа два, а то и поболее, резала, прижаривала, нюхала, пробовала, дуряя от настырного запаха укропа и деликатного кудрявой петрушки... Зачем я все это делала? Да, была голодна, причем зверски. Я же всю рабочую неделю «питалась» редакционным чаем да пельменями в мерзкой закуской на углу Разгуляя и Басманной, в домашнем же холодильнике хоть шаром покати. Мама перед отъездом в Белоруссию, на родину, в Горки, к подруге детства Мане Митрахович, по себе, в девичестве Стугаревой, разморозила его и отмыла до блеска. Да и отца забрала с собой. Не висел на шее и младший братец, отъехавший то ли со школой на картошку, то

ли в спортлагерь. Отсутствовали даже соседи, только что купившие дачу.

Сняв последнюю пробу, а пробовала я свою стряпню через каждые пятнадцать минут, с ужасом понял: от зверского моего аппетита ничего не осталось. Квеляя, с ненужной поварешкой в руке, стояла я посреди кухни, рассматривая с досадой некрасивое пятно, которое, увы, посадила на пляжный сарафан... В тот самый момент и раздался телефонный звонок. Звонила Аня Аксенова, из автомата. С Аней за несколько лет до своей трагической смерти меня познакомил поэт Володя Львов. У него была странная особенность. Львов не просто замечал (в косяке дилетантствующих) особ с проблесками истинного дара. Он их всячески, как бы нынче сказали, пиарил. Анна и впрямь писала хорошие рассказы о детях и для детей. Да и сама смотрелась красивой и странной девочкой, несмотря на то, что старшей ее дочери в пору нашего с ней знакомства было уже лет десять. Жила она где-то на Севере и, наезжая в Москву, иногда ночевала у нас на Щукинской. Потом ее муж, военный моряк, поступил в академию, ее стали активно печатать, и мы с ней если и встречались, то на бегу, в основном в Клубе писателей, на Герцена...

— Алка, мы тут, на Соколе, с Юрой Курановым, — прелестно грассировала Аня, — нас трое, с нами Юрин товарищ, художник, можно к тебе приедем? Вот только...

Но тут трубку берет Куранов:

— Понимаешь, старушка, мы зверски проголодались... У тебя не найдется...

— Найдется, найдется. Приезжайте!

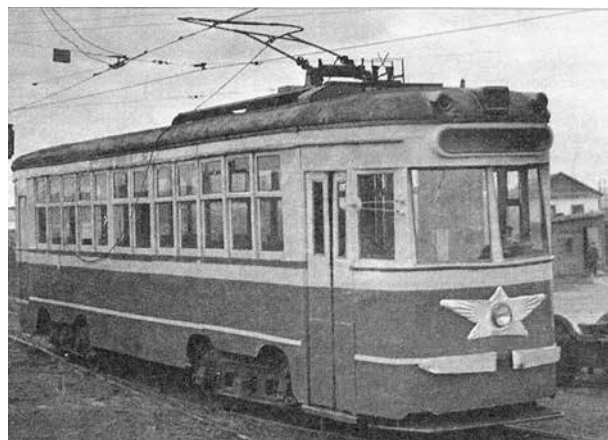
Стянув испорченный сарафан, напялила, не выбирая, какую-то одевку и кинулась к соседке по лестничной площадке — ни хлеба, ни сметаны к борщу не было. У нее же, как и всегда, имелось и то и другое.

Где и при каких обстоятельствах познакомилась я с Курановым, не помню. Не помню даже, где напечатана моя маленькая рецензия на его первую, изданную еще в Костроме, тоненькую книжечку «Лето на Севере». В оформлении, если не ошибаюсь, Коли Шувалова. Дома он у меня не бывал. Знакомы мы были практически шапочно. Но тогдашний, еще малопоющий Куранов был персоной общительной и, не церемонясь, говорил всем сверстникам *ты, старичок, старушка*.

Открыв гостям дверь, удивилась: Аня слегка смущена — уж очень откровенно Куранов за ней приударял. Они вдвоем, она — крупная и спокойная, и он, рядом с ней, — мелкий и суетливый, словно приказчик в дореволюционной модной лавке, заняли собой и дверной проем, и узкий полутемный коридорчик, заслонив третьего из пришедших. Наконец Юрий Николаевич удосужился представить незнакомца: Муравьев, Володька, Художник. Взглянув, я тут же отвела глаза: слишком уж было понятно, что этот человек не любит, чтобы его разглядывали. Да и за столом, пока нечаянные гости уплетали борщ, старалась в его сторону не смотреть, хотя и, каюсь, хотелось, — отдельное было у Муравьева лицо. Самодостаточное. Своей незаемной силой сильное. Рассматривать его я стала потом, когда, почти опустошив кастрюлю, все мы переместились в другую, не солнечную комнату — ту, что с балконом, там было прохладнее, — пить чай. Кроме варенья, которое мамиными стараниями у нас не переводилось, к чаю больше ничего не было... Куранов уселся за мой письменный стол верхом на стул. Муравьев примостился сбоку. А мы на диване. Анна уютно, с ногами. Я — на крайчике, время от времени выбегая на кухню, чтобы подкипятить чайник и сделать новую заварку. Куранов говорил не переставая. Муравьев смотрел на него



Кондукторша



Старый трамвай

ласково, а у меня, когда подала вторую чашку чая, спросил, жду ли кого-нибудь и не пора ли им сматываться. Узнав, что никого не жду и занялась стряпней просто так, задержал глаза, но тут же переместил их на Куранова. Анна, чутко заметив, что я смешалась, затребовала еще одну порцию варенья, лучше, дескать, не клубничного, а вишневого. Вишневое долго не находилось, и мне из большой комнаты, где я, шуруя за шкафом, куда мама ставила банки, аккуратно перевязанные и всегда надписанные, было слышно, как Куранов на сей счет ерничал. Вот, мол, на каких бабах следовало бы нам, дуракам, жениться... Но когда я появилась с банкой вишневого, разговор уже шел о другом.

Освобождая свой маленький письменный стол для чаепития, я попросила Муравьева, ему-де сподручнее, пристроить лежавшие на столе книги на книжную полку — полка была как раз за его спиной. Книжек было три: зеленый двухтомник Есенина (я писала что-то есенинское для «Вопросов литературы», где тогда работала), и машинописный самиздатовский кирпич Хемингуэя «По ком звонит колокол». Так вот: когда вернулась, распахнутый хемингуэевский томище лежал на столешнице, Муравьев его осторожно перелистывал, а Куранов доказывал, что все романы крутого американца не стоят его ранних коротких рассказов. Время на дворе стояло то самое, когда, как напомнил недавно кто-то из шестидесятников, фотопортреты Хэма имелись в каждом «интеллигентном доме», а гостей собирали на Окуджаву, то есть на прослушивание писанных-перезаписанных, клееных-переклееных бобин с его записями. На сей счет и у меня было особое мнение, но я его оставила при себе, поскольку занялась куда более интересным делом. Куранов витийствовал явно для Анны, для персиковой, абрикосовой зрелой ее красоты, Муравьев смотрел на Куранова, а я, притулившись к Анке, исподтишка рассматривала Муравьева. Он сидел, повернувшись в профиль, профили, как потом выяснилось, у него разные: один ехидный и хмурый, другой простодушный и веселый. В тот день мне был виден хороший профиль. И сидел он не то чтоб картинно, а как-то ловко. На нем был дешевый гэдээровский пиджак и не слишком хорошо отглаженная ярко-белая рубашка. Но все это смотрелось почему-то элегантно. Он вообще это умел. То ходил и дома, и в мастерской в каких-то удобных (?) или чем-то приятных ему рубашках, в ботинках, которые наша дочь обзывала куриными, то вдруг, оправляясь куда-нибудь «в люди» — все в том же пиджаке и все в тех же брюках, — преобразался. И пиджак,

и брюки казались вечными, ибо *и в пир и в мир и в добрые люди* он выходил редко, а вернувшись, тут же переодевался. Никогда не стаптывал и ботинок, просто они вдруг изнашивались, не перекобачившись. Мне же не единожды собственноручно ставил набойки, ему это почему-то нравилось, и каждый раз удивлялся, почему перекашиваются набок? Причем по-разному, то вправо, то влево? Зубы в улыбке тоже были какие-то прочно и навсегда голубоватые, хотя и не эталонные, со слишком широкой «прогалиной» между передними. Но мне и это понравилось. Прогалина, только чуточку уже, была у мамы, а на все мамино за всю ее достаточно долгую жизнь я так и не смогла досыта насмотреться.

Вспоминал ли Муравьев августовское воскресенье? Не знаю. Он никогда об этом не говорил. Вот только иногда цитировал Кузмина: «*Сияющий нам был обещан день, и без плаща я свой покинул дом...*» Кузмина, в отличие от меня тогдашней, он как-то особенно отличал и даже удивлялся, впрочем, более чем деликатно, моей филологической *заикленности*, как сказали бы нынче, на Блоке. К Блоку Муравьев никаких чувств не испытывал. Почему? Может, потому, что, как и обожаемый им Есенин, считал, что Блок — поэт бесформенный? Потом, после его смерти, из одного из неотсланных писем узнаю, с какими «трудами» *достал* в Костромском буке одотомник, кажется, одотомник, Брюсова и как радовался неожиданному «повезению». Удивилась, а потом сообразила: художнику и в стихах нужна пища для глаза...

Оттого, думаю, и Северянина так преданно полюбил. Каким-то чудом (каким? В послевоенные годы? При тогдашней своей нищете?) раздобыл (купил!) несколько прижизненных томиков, а недостающие (до полного собрания *поэз*) переписал! В библиотеке, каллиграфически. Почерк у него в молодости был какой-то готический, рисовальный. Он и сам его с трудом, посмеиваясь, разбирал. Мне же и лупа не помогала.

Что же касается имени... Ни Володькой (как для Куранова, и вообще московских друзей, что Аскольда Канторова, что Левушки Меграбяна), ни Володей (как для матушки), ни Муравьем, как до сих пор именует его Галка Меграбян, напрочь связав совсем не романтическую нашу историю с самой модной в 1961-м песенкой Окуджавы, он для меня так и не стал. Так и остался, и тоже навсегда, Муравьевым. С того самого дня, тоже, кстати еще августовского. Встретились у метро. На Соколе. Встретились и двинулись на Песчаную к Лебедевым. Семейство, академика и сталинского

лауреата, естественно, все еще на даче, под Звенигородом, в Луцино. Но Маруся, домработница, уже в Москве. Печет, чистит. Моет и гладит. Тех работ, какие после смерти Сергея Алексеевича и Алисы Григорьевны Катя, Екатерина Сергеевна, соберет и развесит в главной гостевой комнате, тогда еще не было. Но главные были: и «Инфанта», и «Море Икара». Маруся приносит нам к чаю тарелочку с еще не остывшими пирожками и специально для Муравьева блюдце с остатками начищенных для лобии грецких орехов. В стихах этот визит выглядит так, а в жизни... Но сначала все-таки были стихи:

Мальчик Мук, в веселых туфлях,
Над заплаотою прореха!
Это ты у злой старухи
Утащил кулек орехов?

Мы один орех расколем...

Бросит плакать, встанет с пола
Кукла грустного ребенка,
Та, что палец наколола
Золоченою гребенкой...

Мы второй орех расколем...

И на зависть землеходам,
Убоявшихся корсаров,
Прыгнем прямо с парохода
В море юное Икара.

Мимо розового рифа,
Через синие глубины,
В царство затонувших мифов,
К одноглазым Исполинам.

Назовусь я Пенелопой,
Ты бродягой Одисеем,
Простодушного Циклопа
Опоим медовым зельем.

Испросив на то согласно
Самовластнейшего Феба,
Крылья нам подарит Мастер.
Достающие до неба...

И еще орех расколем...

Видишь? Там, за поворотом,
Поднимается из пены...
Город?

Видишь?
Наша лодка
У отрогов Ойкумены...

Но я опять ненароком забежала вперед, словно прожитая жизнь подобна описанной книге, которую можно, перечитывая, открывать то на одной странице, то на другой.

1942

Зима

...штаны по-татарски — ы-штан!

Дом, недостроенный погибшим в первые же дни войны мужем Миникамал, стоит за деревней, поближе к Ключу. Долгие годы я почему-то считала, что название деревни Салкын-Чишма переводится как Золотой, а не Холодный Ключ. Наверное, потому, что мама, в отличие от колодезной, впрочем, и чистой и вкусной, называла ключевую воду целебной. На Ключ мы ходим вдвоем с Ахметом. Ведерко — его ноша, моя — бидон. И ту и другую посудину наполняет он сам. Спускаться к заповедной воде могут только свои. А мы чужие. Может, и хорошие, но чужие. Зато и Миникамал, и ее дети — тутэйшие, хоть и построились на отшибе. *Отшиб* мое слово, мама говорит: *на выселках*. Но это неправильно: их же ниоткуда не выселяли. Просто тут было пустое и не очень удобное место. Почти сразу за домом ровное пространство кончалось. Земли для большого сарая и огорода с картошкой не оставалось. Всю ровную часть отшиба занимали соседи. У них-то все было прочным и доделанным — и изба, и двор, и дворовые постройки, не старые, и не новые — обжитые. Ни-



Отряд 112-й Башкирской кавалерийской дивизии на учениях. 1941 год

каких других строений на отшибе не было, если не считать бани. Баню, как вспоминала мама, построил хозяин, отец Ахмета и Нурии. Сразу же, как в Салкын-Чишму переехали. Из другого большого села, куда будущего мужа Миникамал на работу прислали. Издалека прислали. Из-под Уфы.

— Зачем прислали?

— Да он же механизатором был. И у ее родителей столовался.

— А Миникамал?

— Отстань. Я же письма пишу. И отцу, и в Лопасню...

Отстаю. Отстаю и думаю: *Ага! Значит, и наши соседи в Чишме не очень-то и свои?* И как выяснится многие годы спустя, не одна так подумала. Заговорив как-то о раскулачивании, от которого, похоже, еле сбежала (наставница в сельской школе вроде как военнообязанная), мама припомнила вдруг и Башкирию:

— Соседей Миникамал помнишь? Может быть, и они не просто так построились за деревней? В колхоз не вступили, остались единоличниками? И добавляет неожиданное:

— Да и были, похоже, не здешними, а казанскими или сибирскими татарами.

Как и на что жили непонятные соседи Миникамал и почему их «не трогали» аж до 1941 года, мама не знала. Как и я в ту пору. Сейчас же почти уверена: если б не старинный ткацкий станок, над которым не разгибались три дочери предполагаемого единоличника, женская половина Салкын-Чишмы осталась бы без порток, точнее, штанов. Но об этом в свое время, когда доживем до весны. А пока не только Миникамал и Ахмет, но и я к соседнему владению стараюсь не подходить. Даже не смотрю в ту сторону, пробегаю, подпрыгивая, под отцовскую присказку: *Они-то сами, да и мы с усами.*

Сначала, пока Женька добаливал, мама на скотный двор не ходила. Да и одежды подходящей не было. Выручили, по ее воспоминаниям, родители Миникамал. В отличие от маленькой Чишмы, село, где они жили и где родились и сама Миникамал, и Ахмет, было большим, стародавним, и тамошние старики и старухи многое нужное мастерили вручную. И мягкие, высоко обшитые толстой кожей вроде как валенки. И простой вязки головные платки из натурально-серого козьего пуха. Татарских валенок едва хватило на два сезона, а вот платок... Платок сам стряхивал с себя и снег, и дождь! Вечерами я скатывала из пухового дива валик и, прижимая к груди и пузу, засыпала в обнимку с ним. В 1943-м, когда Валя, младшая дочка маминой сестры Лизы и дядьки

Семена Фабристова, уезжала в Москву учиться и мама отдала ей тот козий платок, он был как новый, как только что связанный. Она легко отдавала племянницам лучшие свои вещи, и мне это нравилось. А вот платок, может, как и я, потом пожалела. Во всяком случае, когда дядя Сережа (в конце 50-х) уезжал погостить в Оренбург к Коноваловым (в Оренбурге осела насовсем семья двоюродного их брата по отцу Филиппу Кирилловичу Шаповалову), смущаясь, попросила купить ей, сколько бы ни стоил, пуховый оренбургский платок. Настоящей ручной вязки. Коноваловы расстарались. Платок был произведением искусства. В затейливых узорах, нить — паутинка, ровноты немислимой и белоснежного цвета. Накинув его на плечи, мама помолодела и похорошела лет на двадцать и никогда его больше не доставала из расшитого розами и васильками конверта. Уже совсем больная, буквально заставила меня взять его себе — а то невестки перецарапаются. Он и сейчас у меня. И я его тоже никогда не надеваю. Но вернемся в Салкын-Чишму. И к проблеме штанов (в варианте ы-штан).

С лошадьми в деревне был, как вспоминается, дефицит. Их, как и мужиков, тоже призвали на войну. Зато у оставленных, причем у каждой, не в пример прочей скотине, имелся свой «шеф». Из числа не достигших рабочего возраста подростков. Ахмету, как самому младшему, досталась полуслепая пенсионерка. Ни на какую работу она уже не годилась, но ее почему-то чуток подкармливали и на убой не отправляли. Ничем, кроме хорошего отношения к лошади, в генной памяти народа заложенного, объяснить этого не могу и сейчас. Миникамал на сына за нехорошие отметки сердилась, но он все равно убежал после школы к своей лошади, а потом уже в сумерках приводил на отшиб, чтобы напоить целебной водой. Напив, подводил к бревнам, лежавшим бесхозной горкой метрах в семи или пяти от дома, и забирался на них. Лошадь низко наклоняла голову, и он, слегка ухватившись за гриву, вскакивал ей на спину. Я наблюдала за ними издалека...

Ударили морозы. Миникамал поговорила с учительницей. Ахмета, как лодыря, стали оставлять в школе делать домашние задания, а у меня появился не менее увлекательный предмет для наблюдения — следить, как мама шьет для Миникамал новые ы-штан. А началось с мытья в бане. И топили, и загружали баню водой и дровами сильно пожилые работники скотного двора, когда-то помогавшие убитому мужу Миникамал построить мыльню. Они же первыми, прихватив Ахмета, и мылись-парились. Наконец пришла и наша, жен-

ская, очередь. Было уже не очень жарко, и вкусно пахло какой-то травой... Когда стали одеваться и приоткрыли для света дверь, мама ахнула: на бедрах Миникамал уродливые коричневые рубцы! Оказалось, что это не болезнь, а следы от крепкой веревки, на которой, вместо резинки, держатся ы-штан. Выяснилось также, что домотканы (мамино слово) у Миникамал сколько угодно, а она, бедолага, прежние, тесноватые носит, до последних родов сшитые. У ее тетки, материни сестры, на пальцах болочие шишки выросли. Не то что шить да кроить, вдеть нитку в иголку и то не может. Нитки-иголки у мамы были, но для работы с каляным холстом не годились. Миникамал сбегала в деревню и принесла другие, правильные.

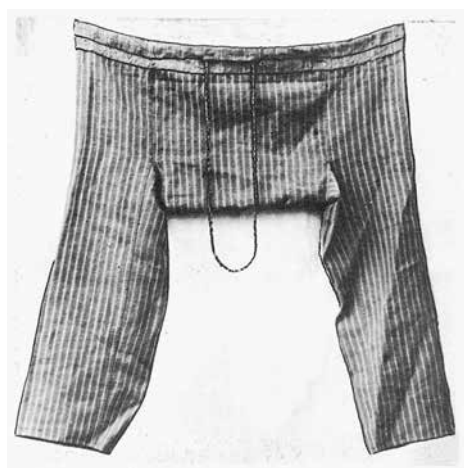
Долго ли, коротко... Обрезав хвост у веревочных узелков, мама раскладывает, оглаживая влажной рукой, готовые ы-штан на спальных нарах. Мы ждем Миникамал, и она немного волнуется — а вдруг...

— Я тоже такие хочу...

Мама рассеянно:

— Душа хотений, зачем? У тебя и штанишки с начесом есть, теплые, и рейтузики. Коротковаты, штопаные, да в валенках незаметно. И добавляет всегдашнее: тебе же без малого десять, а ты...

Продолжения фразы не требует, я его давно знаю: а у тебя все еще детский ум... А вот «Душа хотений» — это папкины слова про меня, пятилетнюю. После ЧП с меховым, в ботиночках, зеленоглазым Зайцем. Которого я Хочу. Громко и с ревом. Магазин, видимо, универсальный, возле **Примбуля**, длинный, полупустой. Еще пустее детский отдел. Если, конечно, не считать маленькой стайки трехколесных велосипедиков и моего единственного Зайца. Мой Заяц прекрасен. И я его не



Татарские женские штанишки традиционного кроя

отдам. Мама ошарашена, отец растерян. Продавщица пытается разжать мне пальцы — боится за сохранный дорожный товар. Все прежние мои *хочу* не имели цены и, как помнится, обходились без слез и прилюдных разборок. Будущие тоже. А с появлением братца и вовсе сошли на нет. Причем надолго, пока незаметно-неотъемлемо не превратились в куда более неудобное: *не хочу да и все тут*. Впрочем, за исключением уже описанного отказа от возвращения в школу с глистами, из которой нарушителей порядка выбрасывают в коридор, о побудительных причинах своих *не хочу* я не распространяюсь. Точнее, придумываю, как формулирует строгая моя дочь, «отмазки», а чаще всего по-тихому уклоняюсь. Но в тот день, в тот в ясно-зимний день 1942 года, я явно завидую обновке Миникамал. Уж очень ловко сидят на ней полосатенькие ы-штан. И втянутая вместо резинки веревка вида не портит. Наоборот! И как же упрости маму шить для меня такие же? Хочется-перехочется. Хочется, да не может. Я ж не могу — не умею, не смею объяснить, зачем мне точно такие? Длинные. Не на резинке, на прочной веревке. Чтобы быстренько не развязать. Впрочем, однажды, уже взрослой, первую часть нерассказанного рассказа все-таки рассекретила. Но, видимо, столь невыразительно, что мама «не прореагировала». Что до второй, главной, недавно все-таки вскользь упомянула о ней (обсуждая с дочерью собранные Улицкой воспоминания детей войны о послевоенном детстве). Но дочь устным моим изложениям предпочитает письменные...

Итак, в один из последних морозных дней 1942 года, выглянув в окно, я увидела необычную картинку. Кроме Лошади и Ахмета, возле уже упомянутых бревен верещала стайка деревенской мелюзги. Судя по платкам и длинным юбкам, главным образом девочек. По очереди, не толкаясь, строго соблюдая черед, малышня забиралась на бревна, и Ахмет водружал их, по двое, на Лошадь. Мелкая всадница впереди, большенькая за ней. Лошадь, осторожно ступая, делала круг и, остановившись, терпеливо ожидала, пока Хозяин Ахмет поможет им приземлиться. Завидев меня (в окне) девчонки заверещали еще громче, замахали не столько руками, сколько рукавами. Иди, мол. К нам! Застегиваясь не на все пуговицы, выскочила, но остановилась, как и всегда, у завалянки. Ахмет оглянулся и тоже махнул. Сразу, конечно, не подошла, дожидаясь, пока очередь накатается. Ахмету, как и Лошади, игра в деревенскую карусель наверняка уже надоела, но он этого не показывал. Даже меня подсаживал не то чтоб охотно, но терпеливо, и на мою неуклю-

жесть не злился. Да и Лошадь все-таки сдвинулась с места. Фыркнула, двинулась, но, поравнявшись с первым же сугробом, дернувшись крупом, сбросила неприятную ей тяжесть. Сугроб был огромным, больно мне не было. А вот стыдно... Ой как стыдно! Шлепнулась я вниз головою, да так неловко, что и шубка, и почти закрывавшая колени бумазая задралась, выставив на посмешище и белые штаники с начесом, и отвратительного цвета чулки в резинку. Девчонки уже не просто верещали — гоготали. Я, разумеется, выкарабкалась и даже выбила голиком валенки. Но к вечеру перестала поворачиваться шея. Решив, что я опять насосалась сосулк, мама разрешила дня три не гулять. А сама, оставив на меня домашний детский сад, то есть и Женьку и Нурию, отправилась в гости к Эльвире, откуда принесла презент: половину свежей газеты и две вырванные из чистой школьной тетради пустые страницы. А главное, сообщила: у племянничка появились друзья-соседи, сыновья нефтяника из Туймазы. На работу, дескать, прислали, а жить семье негде. К осени, может, барак построят. Вот и привез он их в Чишму, в дом к председателю здешнего колхоза.

Ночью заныло еще и плечо, и я, положив традиционные листки на подоконник, убаюкиваясь, стала сочинять в уме историю полуслепой Лошади. История получалась печальной. Что-то в таком роде: *Лошадь была не вредная а старая и усталая Свои жеребятя у нее от старости не рождались а прежних выросших всех до единого угнали на Большую войну и сразу убили как и отца Ахмета Поэтому старая Лошадь и любила его. Его одного и любила...*

Утром замороженное окно от солнца и печного тепла растаяло, и бумага подмокла...

История с каруселью дошла, видимо, до ушей Миникамал. Ахмету запретили выводить старую и больную Лошадь из стойла. Томясь бездельем, я стала задавать слишком уж назойливые *почему*. Помянув любознательную Варвару с оторванным носом, мать выпроваживает меня на свежий воздух. Вместе с плетенкой, в которую собиралась растопка. Палочки, щепки, пучки соломы, травяной сухостой... Добыча была жалкой. Все, что росло вдоль деревенской внутренней улицы, мы уже обломали. Щепки попадались редко, а идти за околицу боязно. Ахмет и тот поворачивал, когда доходили до крайней избы. Не будь на мне безрукавки и рейтуз из верблюжьей шерсти, я бы, наверное, по обыкновению побежала, но я-то оделась словно на северный полюс. Потому и брела, не оглядываясь по сторонам. Глядя под ноги и не сразу заметив, как выскочило на доро-

гу одетое не по-деревенски пацанье. Выскочило и с визгом и криком бросилось мне навстречу. От неожиданности слегка испугалась, но, разглядев среди незнакомых мальчишек племянника Эльвиры, успокоилась. Я даже свернула с обочины в снег за незамеченным сорняком — пусть, мол, не думают... А они и не думали думать! Гогоча и толкаясь, они напирала на меня стенкой, оттесняя от улицы, за околицу... И уже не орали, а хихикали, да так мерзко, словно не лица у них, а рожи! Пятясь, я грохнулась навзничь. Но заорала (не столько от страха, сколько от омерзения) только тогда, когда, навалившись, сопя и сопляиваясь, стянули с меня рейтузы. Рейтузы, хотя и сидели туго, сползали. Резинка не сопротивлялась... Разумеется, я брыкалась. Но и брыки им не мешали. Ни лезть и стягивать, стягивать и лезть... Мешал им ор!!! Грязная красная лапа, лапа, а не рука, вцепилась мне в рот. Ух, как я ее кусанула!!! Укушенный вскочил, мерзко ругнулся и вдруг завизжал совсем другим голосом:

Атас!

Полундра!

Руки, рожи, галоши и валенки мигом исчезли...

Натянуть стянутое в положении лежа не так-то сподручно, попробовала подняться, но, оказавшись в положении стоя, оцепенела. Гикнув, пронеслась мимо маленькая «татарская орда». Пронеслась так стремительно, словно неслись не подлетиши, а всадники на невидимых мне скакунах. Крики и возгласы переместились куда-то в бескрайнюю степь. Из крайней избы выскочила старуха. Взглянув на меня — на ногах и живая, — вернулась в тепло.

Ни о чем не спрашивая, мама достала из чемодана градусник. 38 с хвостиком! Но я все-таки ткнула в правый висок: голова раскалывалась пополам! Мама расстроилась. Мигрени еще не хватало! Вынула из сумочки тройчатку и растолкла таблетку — ложкой в ложке. Я выпила и заснула. Разбудил меня запах. Съестной. Незнакомый. И такой обольстительный (слово — нынешнее, тогда, конечно же, неизвестное), что я вскочила и чуть не расплакалась от разочарования. Нурия и Женька уже спали. Ахмет сидел у окна, на моей скамеечке, и дул на зачерпнутую подрумяненной коркой совсем не красивую еду. Он всегда дул и на горячее, и на ледяное. Из-за последнего, с дыркой, молочного зуба. Мама и Миникамал смеялись в другой полуконнате. Выглянула Миникамал. Увидев, что я проснулась, открыла печную заслонку и вынула оттуда посудинку. С такой же, как у Ах-

мета, некрасивой едой. Быстренько показав, как это едят, скрылась. Ахмет оказался лучшим учителем — делай, дескать, как я.

Прежде чем написать татарское имя (название) воскресившей меня еды, в том варианте, какой запомнился, я, разумеется, прошвырнула по Интернету. Выяснилось, что запомнила неправильно — как услышалось: бьялиш, да еще и с ударением в конце. Менять, однако, не стала. Хотя и не исключаю, что детская моя скарлатина все-таки потревожила слуховой нерв и некоторые гласные в иноземных словах утратили артикуляционную четкость... Прочитала и сообщаемые хорошими хозяйками рецепты изготовления, равно как и про то, что знаменитый татарский пирог — с картошкой, луком и мясом — печется в особых случаях: по торжественным дням. По моим же воспоминаниям бьялиш затевался чаще, чем торжественные дни случались. Похоже, что каждый раз, когда нам, эвакуированным, выдавали в сельсовете немножко ржаной муки, а сердобольным родителям милой нашей хозяйки, кроме картошки и лука, удавалось достать-прикупить для нас кусочек мягкой баранины. Из той, что самой Миникамал, как одинокой вдове, время от времени потихоньку выдавали на колхозном скотном дворе, варился в котле каждодневный суп. С горохом или домашней лапшой. Откуда являлся горох, не знаю, а лапшу и замешивала, и раскатывала, и подсушивала, и нарезала мама. Миникамал поглядела-поглядела да и кивнула: яхшы, Гала, бик яхшы...

Ну а бьялиш... Тут уж мама всего лишь просеивала муку. Грубое сито, потоньше, самое частое... Даже картошку чистила Миникамал по-особому: не отрывая ножа, чтобы кожура не рвалась, а серпантинилась, закручиваясь в сквозной шарик. Но сначала, конечно, вымешивала тестяные шары — большой, маленький и совсем крошечный, вроде пипки на крышке от заварного чайника... Наверное, в довоенные времена и мука была побелее, и тесто не совершенно уж постным. Но в военное лихолетье, у меня на глазах, ни яйцами, ни молоком его не сдабривали. Мука, соль да вода. Да и доходило оно не часами, а пока начинка готовилась-резалась на идеально правильные дольки — и баранина, и картошка, и лук. А как ловко, красиво и прочно прищипывала Миникамал к тестяной вроде как формочке верхнюю крышечку — идеально круглую, с пипкой. Пипку потом отломают, чтобы в дырку прибавить простой воды... Наблюдала я это издали — вот, мол, ничуть не волнуясь, что чудо-пирог шлепнется или развалится. А как волновалась, пока он, пузатый, тихонько съезжал. С фанерной квадратной



Знаменитый татарский пирог (зур-белиш) с бараниной, картошкой и луком. Формой почти похож на те, что пекла наша хозяйка Миникамал

«доски». На широкую деревянную лопату. Лопату подставляла Миникамал, мама наклоняла фанеру. На всякий случай я закрывала глаза, а когда открывала, он был уже — там. В печной пещере. Целый и невредимый.

Воспоминания детей войны записывали многие. Начинались они, как правило, одинаково, по одному шаблону. С войной, мол, кончилось детство и началась другая взрослая жизнь. На самом деле война не укоротила детство, наоборот, удлинит его. К тому же довоенные дети и вообще развивались (взрослели) медленнее нынешних. Исключения лишь подтверждают правило. Нас ведь и в школу принимали с восьми. Причем достаточно строго с восьми. Шурыгинский Левка, к примеру, был младше меня всего лишь на несколько месяцев, а его не взяли. Несмотря на пробивной норы матушки. Даже военные продовольственные карточки (бытовая деталь, замызганная и протертая до дыр) считались детскими до 12 лет получателя!

Не раз и не два я честно пыталась отыскать в книжном или в житейском море разумника, предлагающего к размышлению, достаточно убедительное объяснение этому. Не нашла, к сожалению. Вот и остаюсь при своем суждении, а) дилетантском, б) слишком уж тесно привязанном к личному, якобы не общему опыту. Опыт же волею того же Случая складывался так, что за три года эвакуационного кочевья ни в одном из населенных пунктов подольше, чем на неполный год, мы не задерживались. В результате волею неволей пришлось приспосабливаться и к новому месту, и к новым людям, и к новому способу соображения понятий. Не говоря уж о четырех разных школах. Многие из ровесников жалуются на настырную узость «патриотического» давления-

воспитания. Мне же и красивый галстук, и красивый металлический зажим механически выдали только в четвертом классе к 7 ноября 1944-го. Уже в Москве. Все в той же 153-й. Зажим соскользнул и сгинул. Галстук обмакнулся в чернильницу, за что и отправился куда следует. Единственная пионервожатая, выбиваясь из графика, колготилась вокруг шестиклассниц, готовя их скопом к вступлению в ВЛКСМ. А у нас, младших, и с учителями по основным предметам не достача.

Игорь Дедков в некогда широко читавшемся Дневнике («Холодная рука циклопа», «Новый мир», 2000, № 11) не без основания утверждает: «духовная атмосфера», в которой проходила юность нашего поколения, «была бедной, односторонней, способствующей бедному, сжато-мысленному — в узком диапазоне». Из рук Циклопа вырваться было хоть и нелегко, а все-таки можно, но либо через библиотеку, либо «через каким-либо образом совершавшееся ориентирование». А это, по Дедкову, сугубо «индивидуальный акт», к которому «обстановка» «старалась не побуждать». На мой же взгляд, побуждала к ориентированию по другим компасам именно обстановка, причем не юности, а детства и отрочества. Во всяком случае, слишком долгого детства всех тех, кто силою обстоятельств вынужден был учиться совсем в другой школе. В той, где и историю, в том числе и новейшую, и экономику, в том числе и капитализма, изучали не по наркомпросовским учебникам. И преподавали в той Главной Начальной Школе совсем другие наставники. Во-первых, сама жизнь, а она, в войну, запросто обходилась без высоких коммунистических идеалов. Во-вторых, деды и старшие, уже не призывного возраста дядья, угадавшие родиться до социалистической революции. Их безыскусные рассказы про старые годы были нашими волшебными сказками. Ну а потом, в 43, в 44, в 45-м, стали возвращаться искалеченные войной старшие братья, чтобы ужаснуть иными сюжетами — страшными сказками, ставшими былью. Отцы, если и заезжали после госпиталя на побывку, молчали как партизаны. Большие мальчики не молчали. Им нечего было терять, и они навечно впечатали в наше сознание весь свой гнев и всю свою ярость. За изуродованное тело. За будущее, которого не будет. Но это потом. Потом. Когда силою вещей островное сознание стало налаживать перешеек, связующий островок с Большой землей. А поначалу узость затерянного «во глубине России», лишённого информационной подпитки островного детского мира приучала и приучила (по крайней мере в моем индивидуальном случае) добывать пищу для

сообразалки практически отовсюду. Из любой самой малой малости. А пока и впрямь: и «детский ум», и глупство не по возрасту. Скажем такое.

Нурию дед да баба увозят к себе. Погостить. Она же теперь и ходячая, и почти говорящая. Женьку с улицы не дозовешься. Часами с окрестной мелкотой лепят пещерный дом. Ахмет тоже строит, и тоже дом. Дальний сосед Миникамал, плотник золотые руки, вернулся с фронта с одной золотой рукой. Вот ему и помогает вся ахметовская компания. Помочь, говорит мама. Да и я, уложив Женьку (нагулявшись, спит он и днем), подхожу к стройке. За растопкой. Ахмету разрешают подбирать щепки. Он подберет, а я уношу. Но в тот день мне совсем не хотелось из дому на улицу. Накануне соседка принесла для родителей Миникамал двух новорожденных белых ягнят. Ягнят поместили в закут, за печку. Утром они уже мекали и топотали по всей горнице. Но я все-таки пошла за растопкой. А когда вернулась, братца на спальнях нарах не обнаружила.

Кидаюсь к Ахмету. Ахмет, не дослушав, бросает топор. Убегает в коровник, за мамой. А вдруг что-то и впрямь случилось? Он на скотный, а я домой. Но там по-прежнему. Ни Женьки, ни мекающих ярочек. Не сажусь, опускаюсь как истукан на притулившийся к крыльцу бывший пень, Миникамал на нем рубит на помельче дрова. Руки мертвые, ноги тоже. А картина беды — живая. Ну да... Конечно. Растяпа и торопыга. Дверь не закрыла, только прикрыла. Она же всегда раскрывалась, ежели неплотно зарыть. Особенно если ветер. Вот ягнята и выскочили. Женька, проснувшись, за ними. Они к Золотому Ключу, он тоже. Огромный сугроб обваливается... Прибегает мама. Глянув, а я все в той же позе (виноватая и горем согбенная), громко распахивает входную дверь... Пытаюсь подняться — не получается. Вот сейчас, вот сейчас... Дверь открывается еле слышно. Смотрит, но не подходит. Платок сбился. Волосы растрепались. Уходит не оборачиваясь. Явно недовольная моим глупством. Но я не обижаюсь. На цыпочках вхожу в дом. Заглядываю в закут. И как же сразу не догадалась? Ярочки тихо спят, полузарывшись в измятое трухлявое сено, и Женька с ними. Рогожка, которой он, видимо, пытался накрыться, сконкана. Спят долго, мне надоело не шевелиться...

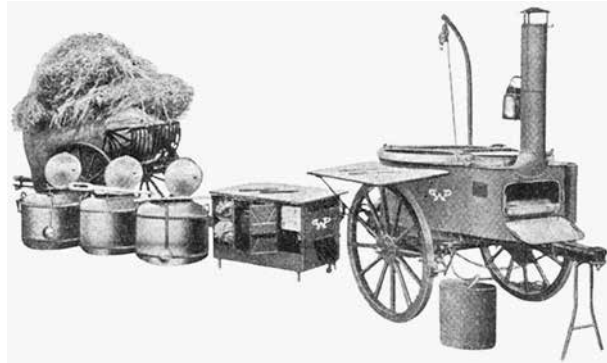
Мама возвращается с работы раньше Миникамал. Приносит невкусное молоко-молозиво. Наливает целых полкружки. Пей! Как лекарство. Давлюсь, но пью. Мама вдруг вынимает платок и, отвернувшись, вытирает глаза... Что? Ничего... Ничего... Просто вспомнила. Мама мне тоже так

говорила: *Пей!* И мне, и Марусе. Сначала нам. Теленку потом...

И все-таки затянувшееся мое глупство ей очень-очень не нравится. А что делать, не знает. Вообще-то знает. Все оттого, что я неуч. Знает и то, что лучшего места для продолжения жизни, чем Салкын-Чишма, пока длится война, нам не сыскать. Не сыскать, а искать надо. Вот и Эльвира так считает. Но они, Ивантеевы, уже нацелились на переезд либо в Уфу, либо в Оренбург. Лето проживут в деревне, а в августе двинутся. Мама в город не хочет. Хочет в большое село, где издавна, как Белоруссии, была бы старая, еще Земством открытая хорошая русская школа. Я, конечно, пытаюсь ей объяснить: и без учебников научусь. Привези только настоящую не детскую книгу. Я же в уме писать фразами научилась. На мамином лице опять появляются сердитки: глупство.

Заезжают они за мамой втроем. Халиль, председатель колхоза и нарядная напомаженная Эльвира. Мама тоже принарядилась — не в ватнике, в московском пальто. Возвращается только к вечеру. Миникамал нас уже накормила. Не супом из бараньих хвостов, а хорошим правильным молоком и — надо же! — свежим хлебом. Мне горбушка. Толстая крутобокая. Остальной хлеб завязала в чистый платок и унесла. Наверное, туда, где *Помочь*.

Мама осторожно ставит на подоконник сплетенную из прутьев корзиночку. В корзинке яйца. Крупные. Чистые. Голубоватые от чистоты. И только потом радостно, улыбаясь, вручает мне книжку. Не очень толстую. Зато шрифт мелкий и прогал между строчками узкий. Даже совсем узенький. Обложка коричневая бумажная. Внутри множество мелких картинок. Нет, не картинок, а похожих на чертежи рисунков. У книг, важных самых, судьбы разные. Большинство приобретают (с годами) библиотечный статус. Время от времени снимаю (то одну, то другую) с интернет-полки, чтобы уточнить извлеченную из нее некогда «информацию». Некоторые, однако, в Интернет не заглядывают. Облепленные, словно базарные шкатулки, ракушками-воспоминаниями, они давным-давно затерялись, а то и исчезли физически, не оставив порой даже имени. Книжки библиотечного ранга — хотя и общительные, однако инакомыслов, как и случайно примкнувших, терпеть не могут. Безымянные не заносчивы. Ни родства, ни свойства не помнят. Если чем и гордятся, так это участием в устройении жизнехранилища.



Полевая кухня Наполеона

Да и я их отдельно, в жестяной бонбоньерке храню. Откроешь — а оттуда, оттоль... Голоса, звон, следы ниоткуда идущих, в никуда уходящих... Вот и тот научпоп, невесть как попавший в Башкирию и за не востребованностью застрявший в писчебумажном отсеке единственного на весь район якобы универсального магазинчика, из таковских. Как сейчас предполагаю, был это, видимо, перевод, и скорее всего, с французского, поскольку подробнее всего описывалось устройство маленьких самоварчиков и походных кухонь, изготовленных по инициативе Наполеона для кормления его армий. Война, это надо же, повернулась ко мне, девятилетней, еще и изнаночной стороной, пробудив заодно интерес и к истории бытовой культуры. Причем всеобщей, ибо неведомый автор впечатал в девственно-невинное пространство моего изумления и Рим, и Египет, и Китай. Китай особенно, потому что не просто умножал сведения, а сопровождал их «анекдотами времен минувших». Например, о китайских людях-инкубаторах. Оказывается, древние эти китайцы делали из рыболовных сетей особые сеточки, привязывали их к себе на грудь и, как курицы, выводили из свежих яиц цыплят теплом своего тела.

Рыбачьих сетей у нас не было. Да и цыпленок мне нужен был всего лишь один. Убедившись, что мама не помнит, сколько яиц посчастливилось ей купить, сделала мешочек из варежки. Ночь, день и еще полночи... Но потом, разумеется, перевернулась со спины на живот... ой, ой, ой... И хозяйскую кошму, и одежду от яичницы всмятку мама, конечно же, отполоскала, Миникамал ничего не заметила. Да и меня не ругала, уверившись, что с глупством без помощи наркомпроса не справиться.

Продолжение следует.